

# НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО



New York  
Public Library  
5th Ave. & 42 St  
New York 18, N.Y.

**NOVOYE RUSSKOYE SLOVO, 243 West 56th Street, New York 19, N. Y.**

# Мысли о Гоголе

К столетию со дня смерти: 1852 — 19 февраля — 4 марта — 1952

Нет русского писателя, о котором на протяжении ста лет было бы высказано больше противоречивых суждений. Не в оценке дарования, конечно: тут разногласий быть не может и отказать Гоголю в таланте искомых, редчайшем, «гомерическом», как выражался Константин Аксаков, способен только человек, лишенный всякого чутя и слуха к творчеству. Нет, не в признании его гениальности.

Но если прочесть то, что писали о Гоголе последователи Белинского, если сравнить их мысли с тем, что сказано было о Гоголе в наш, двадцатый век, хочется спросить: как могло случиться, что у одного и того же художника найдены были черты совершенно противоположные, и что заслуги его, и даже самый его характер, его духовный облик, его стремления, были истолкованы настолько различно? Для одних — великий реалист, глава и вдохновитель «гоголевского периода русской литературы», обличитель дурных порядков, певец русской природы, бытоописатель русского общества. Для других — поэт фантастический и с каким реализмом ничего общего не имеющий, никакой эпохи не отражавший, навевший русскую литературу призраками, принятыми по общей близорукости за живых людей.

Со времен Мережковского, в согласии с правилами хорошего литературного тона, лишь второе истолкование Гоголя считалось допустимым. Ни один уважающий себя критик не решился бы размышлять в печати по примеру Белинского о «жизненной правде гоголевских образов», предоставляя такое занятие гимназистам. Все прежнее понимание Гоголя было объявлено ложным, и «Переписка с друзьями», смутившая и ужаснувшая современников, нашла свое законное, довольно почетное место в ряду гоголевских сочинений. Повторяю, прощай непроходимая, будто люди разных поколений читали разные книги! Ну, насчет «Переписки» еще куда ни шло, расхождение в оценке можно было бы объяснить различием в настроениях и требованиях, но что произошло с реализмом, мнимым или подлинным, почему Чичиков или Хлестаков из общих типов превратились во ввешенные самим чортом карикатуры? Кто прав, кто, наконец, прав в этой неразберихе? Белинский не был глупее Мережковского, в сочинениях Гоголя нет ничего такого, что непременно, наверное должно было от него ускользнуть, — почему надо согласиться с одним, пренебрегая другим?

Пошло сто лет со дня смерти Гоголя. Давно улеглись страсти реалистические и обличительные, выдохлись и порывы мистические, символические, вызывающе-эстетические и другие. Но в запальчивости своей ни те ни другие не правы вполне. Гоголь был слишком сложен, чтобы можно было его втиснуть в одно представление и в одну характеристику. Было в нем две сущности, и если та, которую особенно оценили в прошлом столетии, сравнительно поверхностна, то все же полностью отрицать ее нельзя. Старик Аксаков, — не Константин, а отец его, Сергей, — редкий умница, человек неизменно восхищавшийся Гоголем и может быть лучше всех других его понимавший, записал в «Истории моего знакомства с Гоголем»:

«Его никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо, но часто, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя».

Вот ключ ко всем недоразумениям и разногласиям! Никто не знал Гоголя вполне надо «соединить части», одно знание пополнить другим, и пора, пора это сделать! Нельзя встать и утверждать, в приятном сознании своего модернистического превосходства, что в течение нескольких десятков лет, при наличии людей достаточно про-

ницательных, никто в Гоголе ничего не уловил и не уразумел. Да, конечно, был в душе его страшный, смертельный холод, да, в одной прозаической странице Пушкина или, еще лучше, Лермонтова, больше жизни и живой крови, чем во всех «Мертвых душах», да, действительно его образы часто призрачны, — да, да, все это так! Но Россию мы все таки у него видим, и трясась в чичиковской бричке от одного помещика к другому, все таки у нас, подмечаем, запоминаем, удерживаем, любим многое, чего на счет дьявольского внушения отнестись никак нельзя! В «Ревизоре» чиновники, городничиха, Бобчинский с Добчинским все стали и навсегда останутся нашими знакомыми, если не друзьями, и без них как то пусто и странно былобырусскому человеку жить. Все таки это наш вечный душевный «багаж», часть нашего сокровища, без которого были бы мы беднее. А «Старосветские помещики», — ну, причем в этой чудесной вещи, в этом несравненно-предлестном шедевре чорт, будто бы всегда водивший рукой Гоголя и толкавший его к издательству? «Никто не знал Гоголя вполне»: Аксаков, не предвидя будущих критических разногласий, попал в самую точку. Что каждый ищет у Гоголя того, что больше ему по душе, совершенно естественно, и возражать против этого нечего. Но не надо своим измышлениями, свои причуды выдавать за беспристрастное исследование. Именно в «соединении частей», в сочетании реализма с фантастикой Гоголь и вырастает во весь свой рост, становится великим и глубоким, каким не казался он в представлениях односторонних.

Не было писателя, о котором высказано было столько противоречивых мыслей, — потому, что не было писателя более раздвоенного, расщепленного, развешенного к жизни и разбивавшегося о нее. Но если бы на самом деле так таки ничего он в действительной жизни не понял и не запечатлел, при своем страстном стремлении к ней, можно ли было б говорить о его гениальности?

Перечтем знаменитое письмо Белинского к нему, то письмо, которое «вся мыслящая Россия» когда то знала чуть ли не наизусть. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, — что вы делаете?...» Вероятно, и теперь еще существуют, — точнее доживают свой век, — люди, которые могли бы цитату продолжить по памяти.

В письме этом, как нередко бывает у Белинского, зазор не совсем в ладу с мыслью, обгоняет ее и заставляет сбиваться на прописи. Рассуждения о сущности христианства и о том, что не было на свете лучшего христианина, чем Вольтер, простодушны. Насмешки над стилем Гоголя еще много простодушнее, порою нестерпимы, — потому, что даже и в «Переписке» особенно в начале, падают страницы, написанные с такой силой, какая Белинскому и не снилась. Надо добавить и то, что писать Гоголю в таком тоне было довольно грубо, и в мелочком, болезненно-невнятном ответе Гоголя чувствуется, как тяжело ему было эту наставительную филиппику читать. К Гоголю можно было бы отнестись внимательнее, бережнее, сколько бы ни был Белинский возмущен.

Но основную, ужасную фальшь «Переписки с друзьями» Белинский почувствовал верно, и хорошо все таки, что нашелся человек, который на эту фальшь во всеуслышанье и с таким содроганием откликнулся! Еще раз вспомню Мережковского «Перепиской» в последние свои годы увлекавшегося и всячески отстаивавшего ее ценность. Мережковский был странным типом писателя с острым слухом ко всему метафизическому и с прирожденной глухотой ко всему моральному, — странным потому, что он при этом всю свою жизнь занимался христианством. «Что я делал в жизни? Читал Евангелие»: это ведь он ведь сам о себе написал. Мережковский решительно ничего не понял в Толстом, именно по этой роковой своей моральной глухоте. Но «Переписка» пришла ему по душе, а то, что помещикам в ней рекомендует-

я читать и растолковывать крестьянам слово Божье, однако, не возбраняется этих же крестьян пороть, несколько его не озадачивало. В «Переписке» есть аскетический вздох, который не мог его не прельстить, есть целые страницы — вроде той, что кончается словами «Монастырь ваш — Россия» — на которые он неминуемо должен был откликнуться, не только как художник, а то, что было в этой книге нравственно-чудовищного казалось ему рядом со всеми ее отшельнически-небесными узорами мало важным и второстепенным. Белинский со своим «младенческим лепетом» — как сказал о нем Блок — конечно, устарел, да, правду говоря, никогда и не был на уровне гоголевских заблуждений и мучений. Но тут, в этом письме, младенческий его лепет оказался уместен. Тут нечего было хитрить, нечего было искать скрытых, глубоких смыслов в гоголевской путанице. — тут надо было спуститься к истинной азбучным, к «дважды два четыре», надо было вспомнить о нравственных основаниях христианства, давших ему в истории всю его силу и великое первоначальное вдохновение. Надо было, одним словом, сказать, что свобода, равенство и братство — понятия незыблемо-христианские, как бы далеко ни ушли позднейшие приверженцы и защитники этих понятий от всякой религиозности. Белинский «одернул» Гоголя, и сделал это без достаточной осторожности и любви к писателю, которого сам же признавал славой и лучшим достоянием России. В этом его грех. Но самое возмущение его было в истоках своих праведно и законно.

Как ужасно Гоголь умирал, — он воскликнувший при этом в один из последних своих дней: «как сладко умирать!» Из всех русских смертей это кажется самая страшная, и сколько бы ни читать свидетельств и рассказов о ней, что то все таки тут от понимания ускользает.

За «Переписку» его упрекали в рисовке и тщеславии и высокомерии, да он и сам с горечью заметил, что в ней «размахнулся Хлестаковым». Некоторые друзья Гоголя — а вместе с ними и Чаадаев, никогда другом Гоголя не бывший, — объясняли внутренний склад «Переписки» тем, что Гоголя захватили, вскружили ему голову и он будто бы лишь оттого и впал в напыщенное проповедничество, по натуре ему

не свойственное. Но заморил то он себя голодом, стоял то он, босой и голодный, целыми часами на коленях перед образами не оттого, что ему вскружили голову! Позы, фальши, тщеславия тут во всяком случае быть не могло.

Многое было приписано влиянию отца Матвея Ржевского, хотя тот и отклонял от себя обвинения. Вероятно самым тягостным было для Гоголя требование отца Матвея «отречься от Пушкина»: Пушкина он боготворил да ведь это было для него и «чрезвычайное явление русского духа». Приходится только догадываться, что в его истерзанном сознании при этом творилось. Но едва ли можно сомневаться, что желание своего духовника он исполнил и о Пушкине постарался забыть.

До чего все это трагично и при этом странно! До чего вообще странен, исключителен Гоголь, как человек! Может быть никогда не было в нашей литературе такого словесного дарования, — говорю я «может быть» только по осмотнительности зная, что нечем таланты измерять и не существует весов, на которых можно было бы их взвешивать. А заодно позволяю себе и личное признание: нет писателя, которого я готов был бы читать всегда, в любой момент, с предвкушением чисто словесного наслаждения, какого то звукового, сладчайшего упоения, нет ни у кого страничку, подобных началу «Мертвых Душ», или доброй полонизы «Ссоры Ивана Ивановича

с Иваном Никифоровичем», или «Шинели», или хотя бы даже сцены приема женихов в «Женитьбе». Это не то что «хорошо» написано, это написано невероятно, с единственной, беспримерной изобразительной и словесной находчивостью.

А все таки дух русской литературы по настоящему жив и сосредоточен в других книгах; другими именами подписанных. «Евгений Онегин» или «Война и Мир» выношены и созданы с вдохновением, выразившим и вобравшим в себя рассеянное по всей стране, многомиллионное, многолетнее молчание. «Евгений Онегин» или «Война и мир» написаны не только для всей России, но и за всю Россию.

Гоголь к этому «за» рвался настойчивее кого бы то ни было, но полностью добиться его не мог, в конце концов сознавая это и умирая в ужасном унынии и тоске. Будто забыл что то вдохнуть в него Создатель, будто вылепил его в минуту причуды, но совсем таким, как другие люди, но наделив страстным томлением о том, чтобы полным и совершенным человеком стать. Оттого в книгах его столько печали, как бы при этом они ни казались и действительно ни были смешны, что первый почувствовал Пушкин. Оттого мы и вспоминаем Гоголя с любовью, которой не достает спокойствия и уверенности, как будто раздвоенной, чуть-чуть болезненной и смущенной.

Георгий Адамович.